

Моя страна, правая она или левая. Джордж Оруэлл

Вопреки распространенному мнению, прошлое не богаче событиями, чем настоящее. А впечатление такое создается потому, что когда оглядываешься на события, разделенные годами, они сдвигаются, и потому что очень немногие твои воспоминания приходят к тебе в девственном виде. В основном из-за этого кажется, что книгам, фильмам и мемуарам, вышедшим в период между войной 1914-18 гг. и нынешним днем, свойственна некая грандиозная эпичность, которой лишено настоящее.

Но если вы жили во время той войны, и если вы очистите свои подлинные воспоминания от позднейших наростов, окажется, что волновали вас в то время чаще всего не какие-то крупные события. Не верю, например, что битва на Марне воспринималась в таких мелодраматических тонах, которыми окрасилась потом. Насколько помню, саму фразу «битва на Марне» я услышал лишь много лет спустя. Просто немецкие войска стояли в тридцати пяти километрах от Парижа – и это было страшно, особенно после рассказов о зверствах в Бельгии, – а потом почему-то отступили. Когда началась война, мне было одиннадцать лет. Если я честно переберу мои воспоминания и отброшу то, что узнал позже, то должен буду признаться, что ни одно из событий войны не тронуло меня так глубоко, как гибель «Титаника» за несколько лет до этого. Сравнительно мелкая катастрофа потрясла весь мир, и потрясение это до сих пор не совсем забылось. Я помню ужасные, подробные отчеты, читавшиеся за завтраком (в те дни было принято читать газету вслух), и помню, что из всех ужасов больше всего меня поразило то, что под конец «Титаник» вдруг встал торчком и ушел носом вниз, так что люди, собравшиеся на корме, были подняты на тридцать с лишним метров вверх, прежде чем погрузиться в бездну. У меня что-то опускалось в животе, и даже сейчас я это почти ощущаю. В связи с войной такого ощущения я не испытывал.

От начала войны у меня осталось три ярких воспоминания – мелкие и несущественные, они не преобразены тем, что я узнал позже. Одно из них – карикатура на германского императора (ненавистное имя «кайзер» еще не приобрело такого хождения), появившаяся в конце июля. Люди были слегка шокированы таким глумлением над августейшей особой («и мужчина интересный!»), хотя мы стояли на пороге войны. Другое – о том, как в нашем городке армия реквизировала всех лошадей, и извозчик плакал на рыночной площади, когда у него уводили лошадь, служившую ему много лет. И еще одно – о толпе молодых людей на железнодорожной станции, бросившихся за вечерними газетами, которые только что прибыли с лондонским поездом. Помню кипу горохового цвета газет (некоторые тогда еще были зелеными), стоячие воротнички, узкие брюки и котелки – помню гораздо лучше, чем названия грандиозных битв на французской границе.

Из середины войны мне запомнились больше всего квадратные плечи, выпуклые икры и звенящие шпоры артиллеристов, чья форма мне нравилась гораздо больше пехотной. А из заключительного периода – если меня попросят честно сказать о главном воспоминании, – отвечу просто: маргарин. Это пример жуткого детского эгоизма: к 1917 году война почти уже не затрагивала нас, кроме как через желудок. В школьной библиотеке висела огромная карта Западного фронта, и на ней зигзагом на канцелярских кнопках тянулась красная шелковая нить. Иногда нить сдвигалась на сантиметр в ту или другую сторону, каждое перемещение означало гору трупов. Я не обращал внимания. Я учился в школе среди мальчиков, развитых выше среднего, и однако не помню, чтобы хоть одно крупное событие того времени было воспринято нами в его истинном значении. Русская революция, например, ни на кого не произвела впечатления, кроме тех немногих, чьи родители вкладывали деньги в России. Среди самых юных пацифистская реакция возникла задолго до конца войны.

Расхлябанное поведение на парадах Корпуса офицерской подготовки и отсутствие интереса к войне считалось признаком просвещенности. Молодые офицеры, приезжавшие с фронта, закаленные ужасными испытаниями, возмущались таким отношением молодежи, для которой их опыт ничего не значил, и отчитывали нас за мягкотелость. И конечно, ни одного их довода мы не способны были понять. Они могли только рявкать: война – «хорошее дело», она «закаляет», «делает мужчиной» и т. д. и т. д. Мы только хихикали. Пацифизм наш был близорукий, такой распространен в защищенных странах с сильным флотом. Многие годы после войны интересоваться военными вопросами, разбираться в них и даже знать, из какого конца винтовки вылетает пуля считалось подозрительным в «просвещенных» кругах. Мировую войну списали со счетов как бессмысленную бойню, а погибших в этой войне вдобавок еще считали виноватыми. Я часто смеялся, вспоминая патриотический плакат вербовщиков: «Что ты сделал на Великой войне, папа?» (спрашивает ребенок у пристыженного отца), и о людях, клюнувших на эту приманку, а впоследствии презираемых собственными детьми за то, что не отказались по «этическим соображениям».

Но мертвые, в конце концов, взяли реванш. Когда война ушла в прошлое, мое поколение, которое было «слишком молодо», стало сознавать, какого колоссального опыта оно лишилось. Пять лет, с 1922 по 27-й я провел в основном среди людей чуть старше меня – прошедших войну. Они говорили о ней беспрестанно, с отвращением, конечно, но и с постепенно возрастающей ностальгией. Эту ностальгию ты прекрасно чувствуешь в английских книгах о войне. Кроме того, пацифистская реакция была лишь фазой, и даже «слишком молодых» всех обучали для войны. Большинство среднего класса обучают для войны с колыбели, не технически, а морально. Первый политический лозунг, который я помню – «Нам нужны восемь (восемь дредноутов), и мы не будем ждать». В семь лет я был членом Морской лиги и носил матросский костюмчик с надписью «Неуязвимый» на фуражке. В моей закрытой школе еще до Корпуса офицерской подготовки я состоял в кадетском корпусе. С десятилетнего возраста я периодически носил винтовку, готовясь не просто к войне, но к войне особого рода, где гром пушек достигает чудовищного оргазма, и в назначенную минуту ты вылезает из окопа, обламывая ногти о мешки с песком, и, спотыкаясь, бежишь по грязи, на колючую проволоку, сквозь пулеметный огонь. Убежден, люди приблизительно моих лет были так зачарованы гражданской войной в Испании отчасти потому, что она очень напоминала мировую войну. Франко иногда удавалось наскрести достаточно самолетов, чтобы довести войну до современного уровня, и это были переломные моменты. В остальном она была скверной копией позиционной траншейной войны 1914-18 гг., с артиллерией, вылазками, снайперами, грязью, колючей проволокой, вшами и гнилью. В начале 1937 года тот отрезок арагонского фронта, где я находился, был, наверное, очень похож на неподвижный сектор французского в 1915-м. Не хватало только артиллерии. Даже в тех редких случаях, когда все орудия в Уэске и окрестностях палили одновременно, их едва хватало на то, чтобы произвести прерывистый, невыразительный шум, какой бывает в конце грозы. Снаряды 150-миллиметровых пушек Франко рвались достаточно громко, но их никогда не бывало больше десятка за раз. К тому, что я испытывал, когда артиллерия начинала стрелять, как говорится, сгоряча, определенно примешивалось разочарование. Как же это отличалось от оглушительного беспрерывного грохота, которого двадцать лет ожидали мои чувства!

Не могу сказать, в каком году я впервые ясно понял, что надвигается нынешняя война. После 1936 года это было понятно уже всем, кроме идиотов. В течение нескольких лет грядущая война была для меня кошмаром, и я даже писал брошюры и произносил речи против нее. Но в ночь накануне того, как объявили о заключении русско-германского пакта, мне приснилось, что война началась. Не знаю, как

истолковали бы мой сон фрейдисты, но это был один из тех снов, которые иногда открывают тебе подлинное состояние твоих чувств. Он объяснил мне, во-первых, что я просто испытаю облегчение, когда начнется давно и с ужасом ожидаемая война, и, во-вторых, что я в душе патриот, не буду саботировать или действовать против своих, буду поддерживать войну и, если удастся, воевать. Я сошел вниз и прочел в газете сообщение о прилете Риббентропа в Москву[1 - Риббентроп был приглашен в Москву 21 августа 1939 года, а 23-го подписал с Молотовым пакт.]. Итак, война приближалась, и правительство, даже правительство Чемберлена могло быть уверено в моей лояльности. Нечего и говорить, что лояльность эта была и остается всего лишь жестом. Как и почти всех моих знакомых, правительство наотрез отказалось использовать меня в каком бы то ни было качестве, даже в качестве писца или рядового. Но это не меняет моих чувств. К тому же рано или поздно ему придется нас использовать.

Если бы мне пришлось доказывать, что война нужна, думаю, что я смог бы. Реальной альтернативы между сопротивлением Гитлеру и капитуляцией перед ним нет, и как социалист я должен сказать, что лучше сопротивляться; во всяком случае, я не вижу доводов в пользу капитуляции, которые не обесмыслили бы сопротивления республиканцев в Испании, сопротивления китайцев Японии и т. д. Но не буду притворяться, будто этот вывод основан на эмоциях. Я понял тогда во сне, что долгая патриотическая муштровка, которой подвергается средний класс, свое дело сделала, и, если Англия попадет в тяжелое положение, саботаж для меня неприемлем. Только пусть не поймут меня превратно. Патриотизм не имеет ничего общего с консерватизмом. Это преданность чему-то изменяющемуся, но по какой-то таинственной причине ощущаемому как неизменное – подобно преданности бывших белогвардейцев России. Быть верным и чемберленовской Англии, и Англии завтрашнего дня, казалось бы, невозможно, но с этим сталкиваешься каждый день. Англию может спасти только революция, это ясно уже не первый год, а теперь революция началась и возможно, что будет развиваться быстро, если только мы сможем отбросить Гитлера. За два года, может быть, и за год, если сможем продержаться, мы увидим изменения, которые удивят близоруких идиотов. Могу думать, что на улицах Лондона прольется кровь. Пусть прольется, если иначе нельзя. Но когда красное ополчение разместится в отеле «Ритц», я все равно буду чувствовать, что Англия, которую меня так давно учили любить, – и совсем за другое – никуда не девалась.

Я рос в атмосфере с душком милитаризма, а потом пять скучных лет прожил под звуки горнов. По сей день у меня возникает легкое ощущение святотатства от того, что не встаю по стойке смирно, услышав: «Боже, храни короля». Это детство, конечно, но по мне лучше быть так воспитанным, чем уподобиться левым интеллектуалам, настолько «просвещенным», что они не могут понять самых обыкновенных чувств. Именно те люди, чье сердце ни разу не забило при виде британского флага, отшатнутся от революции, когда придет ее пора. Сравните стихотворение Джона Корнфорда, написанное незадолго до гибели («Перед штурмом Уэски»), со стихотворением сэра Генри Ньюболта «Все затихло на площадке»[2 - Руперт Джон Корнфорд (1915-1936) – английский поэт и эссеист. Генри Ньюболт (1862-1938) – английский поэт. Речь идет о стихотворении «Vitali Lampada»]. Если отвлечься от технических различий, обусловленных эпохой, станет ясно, что эмоциональный заряд этих двух стихотворений почти одинаков. Молодой коммунист, который героически погиб, сражаясь в Интернациональной бригаде, был чистым продуктом привилегированной закрытой школы. Он присягнул другому делу, но чувства его не изменились. Что это доказывает? Только то, что кости самодовольного консерватора могут обрасти плотью социалиста, что лояльность одной системе может претвориться в совсем другую, что для душевной потребности в

патриотизме и воинских доблестях, сколько бы ни презирали их зайцы из левых, никакой замены еще не придумано.

1940 г.

Примечания

1 Риббентроп был приглашен в Москву 21 августа 1939 года, а 23-го подписал с Молотовым пакт.

2 Руперт Джон Корнфорд (1915-1936) – английский поэт и эссеист.

Генри Ньюболт (1862-1938) – английский поэт. Речь идет о стихотворении «Vitali Lampada».